



## ГОД 1961-Й

Я прилетел в полдень и не узнал своего города. Еще утром в Петропавловске-Камчатском буйствовала пурга, мы с трудом пробрались на вездеходе до аэродрома и там долго гадали: «Улетим — не улетим?» И вот мы обогнали на девять часов время, потеряли где-то в пути ночь и оказались в Москве — весенней, солнечной, зеленой, предмайской.

Возвращение домой — всегда радость. Возвращение в Москву — радость двойная, ибо город наш как-то особо притягивает к себе. А сейчас...

Не успевшая запылиться свежая трава и уже заметно распутившиеся липы, женщины в легких светлых одеждах, гагаринские портреты и красные полотнища с космическими кораблями на стенах домов — все было настолько необычным, будто я вернулся с другой планеты. А может, и правда с другой? Камчатка, Командоры, Курилы... Нет, конечно!

И все-таки прохожие с любопытством поглядывали на мою длинную фигуру в полушубке и меховой шапке, с тяжелым заплечным мешком.

Единственно, что могло хоть чуть ободрить меня, — гордость за содержимое мешка. А в нем лежали удивительные вещи: два огромных моржовых

клыка; гудящая раковина величиной с суповую тарелку; могучий краб, лишь вчера вечером сваренный — красный, колючий, похожий на морское чудовище; пол-литра настоящего спирта, продающегося только на Севере да на Дальнем Востоке; свернутый в круг, как проволока, корень женьшеня и несколько банок крабовых консервов, которых сейчас в Москве днем с огнем не сыщешь. Впрочем, все это ломаного гроша не стоило в сравнении с действительно удивительными космическими апрельскими новостями!

Я прибавил шаг. Предстояло самое радостное и сложное — забежать на работу к жене и взять ключи от квартиры. Радостное — понятно почему: ведь я больше месяца не видел Наташу и вот — вернулся. А сложное? Мой камчатский внешний вид явно мог подорвать авторитет такого солидного учреждения, как архитектурно-проектный институт, где работала жена, тем паче что он размещался теперь в отличном, просторном, светлом здании.

Мне повезло: гардеробщица, поворчав для порядка, что у нее не камера хранения, приняла сначала мой мешок, а затем полушубок. Теперь — скорее наверх, к ней, к ней!

Я поднялся на лифте и приоткрыл знакомую дверь.

— Приехал?!

Наташа вспыхнула, неловко бросила длинную линейку и уже в дверях оглянулась на ближайших своих соседок по мастерской. Я не видел в эту минуту ее лица, но знал, что оно было растерянным и немного виноватым. Она всегда теряется от радости и чувствует себя виноватой перед этими



женщинами. Может, не перед всеми, но перед многими. Она знает, что у них-то все не так, и боится обидеть их своим счастьем.

Мы стояли в коридоре, и я целовал ее лоб, и глаза, и волосы, и губы, и руку с заметным шрамом у локтя, и она краснела, как школьница, и увертывалась, и что-то шептала мне, добавляя с испугом: «Люди же вокруг... Неудобно...»

— Но как ты? Доволен? — вполголоса спросила она, освобождаясь наконец и поправляя на мне воротник. Она часто делает так: поправляет мой воротник, или шарф, или перезастегивает застегнутую пуговицу, — и только мы с ней знаем, что это значит...

«Доволен ли я?»

Я мог бы наговорить ей сейчас тысячу самых красивых слов о том, где я был и что видел, и обязательно добавить в конце, что опять поеду туда, откуда только что вернулся. Но я не скажу ей сейчас ничего. Лучше как-нибудь потом... Потом... Я знаю, как она не любит, когда я уезжаю.

А я люблю уезжать, и не только потому, что это надо.

Я люблю уезжать, чтобы возвращаться. Вот так, как сейчас! И чтобы вновь видеть ее такой, какой я знаю ее много-много лет, и находить что-то новое в ней и в самом себе.

Я смотрю на нее. Она все такая же, такая... Она ничуть не изменилась за этот месяц. И за все многие-многие годы, хотя ей давным-давно уже не пятнадцать, а почти тридцать восемь. Боже, как давно я знаю ее. И — как люблю!

Она меняла прически и платья. Она училась и была на войне. Она рожала и опять училась. Она хоронила близких. «Она», а хочется сказать «мы». Но нет, я не скажу так. Я опять скажу — «она». Она всегда была такой и теперь стала еще лучше.

Я поздравляю ее.

— Читал? — Она удивляется, хоть и знает, с чем я поздравляю ее. Она кивает головой: — Спасибо. А знаешь, как здорово получилось. Казалось, уже все! Пропало. И вдруг Буньков приходит, сначала молчит, потом: «Девочки! Что-то вы важные сегодня!» И — достает бутылку шампанского. Только тут мы и сообразили. А как раз на другой день «Правда»...

Я читал на Камчатке короткую заметку в «Правде», но я и так знаю все: как продвигался их проект, как его считали мертворожденным. Я даже сам сомневался, нужно ли загонять в одно здание и детский сад, и магазин, и парикмахерскую, и столовую, и комбинат бытового обслуживания, и клуб? Она доказывала мне: «Нужно, можно, удобно». Доказывала и год назад, когда проект только задумывался, и позже, когда сидела над ним ночами дома.

Теперь я радуюсь, будто это мой проект.

— В Целинограде уже начинают строить, а на будущий год — в Москве! — говорит она. — Здорово, правда?

— Ну а дома-то как?

Дом — это Надюшка и Люба.

— Все хорошо, — говорит она. — Надюшка в школе, Люба в детском саду. Все ждут тебя...

— Удери пораньше. А?

— Постараюсь. — Она притрагивается к моему воротнику. — А ты, я смотрю, начинаешь сесть... Ой, и как здорово!.. Ну, ну, до вечера!

\*\*\*

Поднимаясь по лестнице, я понял, что это в нашей квартире трезвонит телефон.

— Слушаю, — сказал я, не снимая шубы.

— Кто говорит? — спросил женский голос.

— А кого вам нужно?

— Это не отец Нади?

— Да.

— Где ваша дочь?

Как мне не было жарко, я почувствовал холодный озноб.

— Как — где? В школе...

— В школе ее нет.

— Как — нет?

— Так вот и нет! — раздраженно подтвердил женский голос. — Вы можете прийти сейчас в школу?

Не помню, как я сбросил шубу и оказался на улице. Школа была рядом — метров триста от подъезда. Еще издали я заметил группку ребят с портфелями, толпившихся возле школьных ворот.

Может быть, я и не заметил бы их, но они явно с любопытством смотрели на меня и ждали. Вдруг выскочила Надюшка — живая, пунцовая и какая-то взъерошенная.

— Папочка, ты! Вернулся! — И добавила уже иным голосом: — А мы с уроков ушли... Тебя вызвали?

Я вздохнул с облегчением.



Тут же ко мне подошел какой-то парень, на голову выше Надюшки («Где-то я его видел?»), и произнес подчеркнуто серьезным баском:

— Пожалуйста, не ругайте ее! Во всем виноват я!

— Очень приятно.

Я направился в школьный двор. А Надюшка и другие ребята остались у ворот. Около школьной двери какой-то юный философ, лет пяти от роду, возился с котенком.

Заметив меня, он произнес:

— Дядя, а ты думаешь, котенок сам родился? Его мама-кошка родила! Вот!

\*\*\*

...В этот день я трижды слушал рассказ об одной и той же истории.

Первый раз — из уст Антонины Ивановны, директора школы, которая, как я узнал, по очереди беседовала с родителями учеников 8-го класса «Б». Я попал к ней третьим. До меня у нее уже побывали две матери.

— Понимаете ли, случай неприятный, — говорила Антонина Ивановна, и уже по ее первым словам я понял, что по телефону со мной разговаривала не она. — Конец учебного года. Многие ребята из класса готовятся к вступлению в комсомол. Кроме того, идет повторение пройденного. Ну а было все так, насколько я знаю. На четвертом и пятом уроках у них история. Ни с того ни с сего один из учеников обругал преподавательницу истории бранным словом. Это случилось на четвертом уроке. Лидия Викторовна отправила его ко мне. Он был у меня, объяснялся, говорил, что, дескать, его слова не

относились к преподавательнице. Я потребовала, чтобы он вернулся в класс и извинился. Он ушел от меня, а потом весь класс не явился на последний урок. Во главе с председателем совета отряда и старостой — вашей Надей. Удрали куда-то в Шереметьево, в аэропорт... Я знаю вашу Надю, знаю многих ребят в классе. Не пойму, как они не могли повлиять на других. Правда, — Антонина Ивановна улыбнулась, — двух учеников они в классе все же оставили, хотя те и хотели уйти вместе со всеми. Оставили чуть ли не силой: у них, мол, и так последние предупреждения, им грозит исключение из школы. И ребята сообразили, что им уходить нельзя. Так что, видите, народ неглупый, все понимает. Я вас очень прошу: поговорите с Надей. Ребята большие, ершистые, с нами, педагогами, они могут быть неоткровенны. Вот мы и решили обратиться к вам, родителям. Побеседуйте с ребятами по душам. Ну а нам придется, конечно, принять какие-то меры. Завтра проведем пионерскую линейку. Поговорим со всеми на учкоме. Вероятно...

В кабинет вошла женщина — молодая, сухонькая, немного сутуловатая, с острым лицом. Она с любопытством взглянула на меня.

— Вот как раз Лидия Викторовна, — объяснил директор, — а это...

— Да, да, знаю, мне уже сказали, — перебила ее Лидия Викторовна и довольно подробно повторила мне то, что я уже слышал от Антонины Ивановны. — И вообще, — добавила она, — ваша Надя стала в последнее время довольно замкнутой. Я убеждена, здесь сказывается влияние этого лоботряса Игоря. Он старше всех в классе и хочет казаться умником.

Он, видите ли, даже знал, что сегодня встречаются какую-то делегацию! А у них с вашей Надей какие-то, я бы сказала, странные взаимоотношения... И вот...

— Ну что вы! — Антонина Ивановна встала из-за стола. — Не надо преувеличивать, Лидия Викторовна. И потом, говоря объективно, Игорь...

— Не убеждайте меня! Не убеждайте! — упрямо повторила учительница. — Вы считаете Игоря способным, а для меня он переросток, дурно влияющий на весь класс, в том числе и на старосту. Нечего тут скрывать...

Я совсем опешил.

— И уж если говорить начистоту, — продолжала Лидия Викторовна, — то я не понимаю, какая может быть дружба, говоря языком Антонины Ивановны, у пятнадцатилетней девочки и семнадцатилетнего верзилы.

\*\*\*

— Папочка! Ну как же ты не понимаешь! — говорила мне дома Надюшка. — Ну неправа же она, Лидия Викторовна, неправа! Он совсем не про нее «дура» написал, а она пристала, отняла силой тетрадку и выгнала его из класса. А потом он пришел, извинился и говорит, что слово это совсем не в адрес ее, Лидии Викторовны. А она ему в ответ: мол, слово «дура» женского рода, а не мужского, и потому она прекрасно понимает, к кому оно относится. А он ей говорит: «Разве только вы в классе женщина, чтобы на себя это принимать?» А Лидия Викторовна опять: «Конечно. А кто же здесь еще женщина?» Глупо! Как будто девочек в классе не было. Ну тут он, конечно, неправильно поступил.

Сел за парту и говорит: «Вот действительно дура!» А она услышала и закричала: «Вон из класса! Лишаю тебя до конца года права посещения моих уроков!» Только он не нарочно так сказал! Честное слово! Нечаянно у него сорвалось! Он сам объяснял нам потом, что и не хотел совсем так говорить. А когда урок кончился, как-то так получилось, что все решили больше не ходить на историю. Потому что неправа она, Лидия Викторовна! Правда, мы говорили с Люсей — она председатель нашего отряда, — что, может, не надо так. А мальчишки говорят: «Мы вас презирать будем, если останетесь!» Ну как же мы могли! Неужели ты не понимаешь? И потом же мы не просто гулять пошли... Мы в Шереметьево...

— Какие же мальчишки?

— Ну какие. Всякие...

— А все же, кто именно?

— Игорь, например, — произнесла Надюшка и опять добавила: — Ну не могла я иначе! Правда, не могла!

— Это тот самый Игорь, который учительницу... дурой обозвал?

— Да... то есть нет, — поправилась Надюшка. — Он же не про нее написал, я говорила тебе. Это потом он сказал...

— Он второгодник?

— Почему второгодник? Просто он старше нас на два года. Он в детстве болел полиомиелитом. И два года пропустил. У него и сейчас еще рука плохо двигается...

— Ну а ты? Как ты относишься к нему?

— Как? Никак! Мы просто дружим. Он, честное слово, хороший. Только откровенный слишком.

Прямо все говорит как есть. Если хочешь знать, даже когда Сталина стали критиковать в газетах, он прямо учительницу спросил, а она говорит: «Не знаю». А он: «Вы же газеты читаете? Что вы думаете о культе?» А она ему: «Эта тема не для вас!» Вот с тех пор она и придирается к нему. И он ее не очень любит... А вообще-то ты не волнуйся...

— Я и не волнуюсь.

— Нет, я почему говорю... — продолжала Надюшка. — По истории мы нового ничего не проходим. Так, повторение пройденного...

— И что же вы сейчас повторяете из пройденного?

— По истории? Отечественную войну сорок первого — сорок пятого годов.

— И как?

— Что — как? — не поняла Надюшка. — Что — как? — повторила она почти испуганно. Видимо, все случившееся всерьез озадачило и взволновало ее.

— Как она, Лидия Викторовна, объясняет вам то самое пройденное? Хоть интересно, например, тебе?

— Н-нет! — призналась Надюшка. — Как в учебнике... Это мы и сами можем прочитать... Ты только... Папочка! Не говори, пожалуйста, маме! Да?

— Ладно, не скажу, — пообещал я. — А насчет повторения пройденного...

## ГОД 1940-Й

Это был дом в тихом московском переулке. Очень шумный, беспокойный дом в очень тихом переулке у Кировских ворот. Не знаю, может быть, и верно, что когда-то, давным-давно, до революции, он принадлежал какому-то знаменитому московскому купцу, торговавшему чаем. Это нас не волновало. Мы знали другое: вот уже почти четыре года этот дом был заветной несбыточной мечтой московских мальчишек и девчонок. Несбыточной потому, что он был единственный в Москве, и даже, может быть, во всей стране. И попасть в него было труднее трудного.

А мы попали. И мы ходили сюда, как в свой дом. Мы были горды и счастливы необыкновенно...

— Мальчик, а мальчик! Подожди!

Я остановился. В коридоре ко мне подбежала девчонка, ниже меня ростом, без пионерского галстука. Я еще удивился: «Почему без галстука?» В Дом пионеров все приходили с галстуками, если не считать взрослых и самых старших ребят.

— Это твои стихи в «Пионерке» вчера напечатаны?

— Да, а что?

И в самом деле — что? Вчера стихи в «Пионерке» — верно. И на той пятидневке были стихи. И в прошлом году. И в позапрошлом. Я уже три года печатаюсь. На то и деткор!

— Нет, мне просто сказали. Хорошие стихи. Только — не сердись! — там рифма одна плохая, по-моему: «тогда» и «вождя». Я сразу заметила и вот хотела...

Так все началось. А может, чуть позже, когда мы случайно вышли из Дома пионеров вместе. Она спросила, где я живу, и я соврал на всякий случай, что далеко, хотя жил совсем рядом. Мы больше часа шагали по Москве. Шли в сторону ее дома. И потом я еще раз соврал, когда сказал, что учусь не в шестом, а в восьмом классе. Хорошо, что она не спросила, сколько мне лет. Я бы не мог ей признаться, что мне тринадцать. Правда, только до лета. Летом будет четырнадцать.

В общем, что говорить: возраст трагически подводил меня. Школа — ладно! Но и в Доме пионеров, в литературной студии, которая состояла из трех кружков — младшего, среднего и старшего, — мне была уготована честь находиться в младшем...

Все это было весной. И ей исполнилось уже (уже!) шестнадцать лет. А осенью ей будет семнадцать. Она училась в девятом классе. И, может быть, поэтому она еще больше мне нравилась.

В Доме пионеров было интереснее, чем в школе. В школе я учился, и даже, кажется, сносно. В этом году, например, за первые две четверти ни одной посредственной отметки, если не считать алгебры.

Но школа — это школа. Я бы охотно променял свой шестой класс на седьмую комнату Дома пионеров.

Настоящие друзья были там. И туда всегда хотелось идти. У нас бывали когда-то Крупская и Чкалов, а потом папанинцы и Маршак, Чуковский, генерал Карбышев и авиаконструктор Микулин, Гайдар, Кассиль и Михалков. А наши руководители Рувим Исаевич, Вера Ивановна и Вера Васильевна — разве их сравнишь с обычными учителями!

С некоторых пор меня еще больше тянуло туда. И не только в седьмую комнату, где была наша литературная студия. Я приходил почти за час до начала занятий. И уходил позже всех: вдруг увижу? Приходил и тогда, когда занятий вовсе не было: а вдруг она там.

Она занималась в изостудии. Дни занятий у нас не всегда совпадали.

— Ты что какой-то? Пошли домой? — спрашивали меня приятели. Впрочем, даже не просто приятели, а друзья по литературной студии — Сема, Леня, Коля, Юра и Лида, в которую я был тайно влюблен.

— Почему ты по ночам не спишь? — недоумевала мать. — Опять всю ночь вертелся.

— Ну признавайся, не влюбился ли? — полушутя, полусерьезно говорил отец.

— Нет, — отвечал я, — и чего вы пристали!

Я сам не узнавал себя. Я грубил родителям и замыкался перед товарищами. А в разговорах с ней переходил вдруг на такой разухабистый тон, что однажды она удивилась:

— Что с тобой? Не надо так, прошу. Мне это не нравится...

— Ты какой-то рассеянный стал. Потерял что-нибудь? — интересовалась на занятиях Вера Ивановна.

— Нет, нет, ничего...

И верно. Я не потерял, а нашел. Но я не мог признать в этом никому.

— Почему ты сегодня опять не читаешь нового? — Вера Ивановна смущалась.

Раньше я был, кажется, самым активным кружковцем. А я не писал теперь того, что писал раньше. Не писал о боях на озере Хасан и о событиях в Испании. Не писал о происках шпионов и о боевых делах пограничников. Не писал о вождях и о Гражданской войне. И о войне в Абиссинии не писал, хотя прежде Абиссиния почему-то очень привлекала меня. Не писал о животных и о природе, что раньше мне, как говорили, особенно удавалось. Не только не писал, но и стеснялся признаться кому-нибудь, что дома у меня есть живая черепаха, три ящерицы, ежик и белые мыши. Не писал о Москве и о зарубежных детях, стонущих под игом капитала...

Мне было не до того. Я хранил под подушкой «Дикую собаку динго, или Повесть о первой любви», которую читал столько раз, что уже почти помнил наизусть.

Я писал только об этом. Это были серьезные, взрослые стихи о настоящей любви! И я не мог читать их, да еще на занятиях кружка в Доме пионеров!..

А она любила сладкое. Ежедневно я откладывал деньги, которые мне давали на школьный завтрак, и покупал ей конфеты. Самые дорогие, каких



никогда не бывало у нас дома. В самых красивых обертках. В кондитерской на углу Армянского переулка и Маросейки.

Сам я терпеть не мог конфет. В те дни я возненавидел их, кажется, пуще прежнего.

Я никогда не знал точно, увижу ли ее, и конфеты в моих карманах таяли, превращаясь в кисель. Потом, встретив ее, надо было улучшить момент, чтобы передать конфеты. Не угощать же при всех!

Это было тоже сложно.

Я ловил ее и ждал случая, а потом...

— На, это тебе, — говорил я полусшепотом и совал ей конфеты, как оказывалось, в самый неподходящий момент: рядом обязательно появлялся кто-нибудь из ее знакомых или из моих.

— Ну что ты! Большое спасибо! — говорила она и тут же добавляла: — Девочки, берите! Угощайтесь!

Мальчишки тактично уходили. Девчонки не отказывались.

У нее были тугие толстые косы. А лицо круглое. Когда она брала конфеты, лицо совсем круглело, пухлые щеки становились розовыми. И на левой щеке появлялась ямочка. На правой не появлялась, а только на левой...

Я злился и на себя, и на не вовремя подросевших девчонок. Злился, конечно, не из-за конфет, а из-за всех мучений, которые терпел только ради нее, а не ради каких-то девчонок.

И вдруг — о счастье! — неожиданно пришло спасение.

Это случилось в День Красной армии. Мы шли с праздничного вечера в Доме пионеров. Около метро она сказала:

— Подожди минутку. Я куплю мороженое тебе и себе. Хорошо?

— Нет, я сам! — Я чуть не закричал от радости.

Она и опомниться не успела, как я сунул ей в руки мороженое.

— А ты?

— Я не люблю, — с подчеркнутым равнодушием сказал я. У меня не было больше денег.

С этого дня я уже не покупал больше конфет. Только мороженое и только тогда, когда мы шли вместе по улице.

Я был счастлив! Да и в школе теперь мне уже не приходилось голодать. Мороженое — не конфеты, и у меня оставались деньги, чтобы хоть немного перекусить в школьном буфете.

Кировская. Улица Кирова. Бывшая Мясницкая. Мясницкой ее называли раньше. И все же дело не в том, как называли ее, а в том, что она улица удивительная!

— Помнишь, как здесь челюскинцы ехали?

— Помню. И еще Чкалов, Байдуков, Беляков. Помнишь?

— Конечно.

— А потом Громов.

— А ты еще папанинцев забыл.

— Я не забыл. А Киров? Не помнишь, как Кирова здесь везли?

— Я не была тогда, — призналась Наташа.

Помолчала и добавила невзначай: